

Александр  
РУЛЁВ-ХАЧАТРЯН

*д. Костяевка*

*Вологодской области*

# КОЛОСКИ, КОЛОСОЧКИ...

*рассказ*

Ну, про колоски написано много. И в художественной литературе, и так, где кучей, где россыпью. Только одно дело читать про них в отражённом виде на сытое пузо под телевизор, а другое дело, если ты сидишь на лавке подле окошечка и наблюдаешь из избы, чтобы ненароком не заглянул кто и не засёк твою родную мать на месте преступления: она поджаривает четыре жмени ржи, натёртой из подобранных в сегодняшнюю жатву колосков. На груди принесла, за пазухой. Сестрёнкам, себе и мне. Короче — мы воры. На данный божий день.

— Убирай! — кричу я. — Егорыч — к нам!

Мама пристанывает и чуть не с плачем хватается сковородку с огня и прячет на лежанке под кожух. Садится возле печи вся белая, руки на подоле крестом. И я застыл, ноги ослабели. Голову повесил. Слушаем, как по ступенькам деревяшка Егорыча: стук! Переставил живую ногу, подтянул протез — стук!

Вошёл в сени. Распахивает дверь. Пот у него по лицу. Дышит, притуляясь у косяка. Переступил. Поздоровался. Ответил я, но сидя. Встать не могу. А мать лишь слюну проглотила, сама в чёрный потолок глаза возвела, на Бога надеется.

Бригадир примостился возле меня, деревяшка длинная нахось вдоль скамьи, вторая нога в заляпанном сапоге ищет себе места, — а делается всё молча, одно сопение вперёд.

Егорыч вздохнул глубоко в последний раз, упёрся затылком в стену, прикрыл глаза и тихо произнёс:

— Беда-а. Беда, Александра Павловна.

И заполнилась наша изба невыразимо тихим ужасом. Долгая, как день, текла минута.

Мама заплакала. Я сжался. Поглядел на сестренку: за печь прячутся, безгласые, что-то понимают, значит.

— Никто не видел, Егор Егорыч, — простонала мать. — Неужели...

— Видели. Кипрюха видел. А это конец. Напишет. Он не может не написать, ему природа его поганая не написать не позволит.

— Умолю его, в ноги брошусь, землю есть буду, пусть сирот пожалеет, что делать, не знаю!

Заплакали сестры, бросились к ней, она их головки обхватила.

— Мы никогда не брали, — сказал я.

— Знаю. Поэтому и пришёл.

— Господи-и! За что?! Петенька! Где ты, защитник наш, где-е?! Явись! Ах, Петя-Петя-Петя, — закачалась мать, и с ней сестрёнки, прижатые, прилепленные, раскачиваются, а мама совсем чужим голосом повторяет имя нашего отца: причитает по убитому.

О том, что отец убит, на деревне знали мать, почтальон, Егор Егорыч и я. Больше никто ничего не слышал. Так зимой велел бригадир. «Вдову, — объяснил он, — любое начальство или кто не побоится обидеть, а солдатку — нет. Тер-

пи, баба». «А сколько терпеть?» – спросила тогда мама оледеневшим голосом. «Долго. До победы. Окончательной то есть. Всё».

Так мама и терпела. И я был уверен – это не на всю жизнь, а только до победы. Ничего ещё не понимал...

– Вот что, – решительно и сердито прервал причитания и плач моих сестрёнок бригадир, – вот что! Добавь света, вырви листок и пиши письмо Петру Елисеевичу.

– Что такое говоришь, Егор? Что говоришь? Где он – Елисеевич? Куда письмо посылать будем? Ох, батюшки-и... Умереть хочу!

– А я говорю – пиши! – Тут Егор Егорыч крепко ругнулся, чем немного и привёл в чувство мою орущую мать.

Письмо написали утром:

«Дорогой Петенька. Кланяется низко твоя верная жена Александра и дети Вася, Сима, Шура. Мы здоровы. У нас всё хорошо. У Васи отметки хорошие. Не беспокойся. Траву на удворине выкосили нахорошо, как ты и наказывал в последнем письме. Здоровье хорошее. Едим хорошо. Пиши, как ты, и береги себя. Это главное. Посылаем тебе холста на портянки, принесла тётя Маня. Спасибо ей. И они здоровы. Ещё посылаем кисет. А в нём не табак, а жареная рожь. Как ты любил. Остаёмся в ожидании и надежде. Целуем. Шура уже хорошо говорит. Твои родные Александра и дети».

Через неделю маму вызвали на станцию. К уполномоченному товарищу Сибакотулину. Фамилия – Сибакотулин. Уполномоченный. Товарищ. «И под землёй про него слух идёт», – говорил Егорыч.

Она вернулась на шестой день. Ночью. Поцеловала девочек, поплакала. А мне сказала: «Видишь, сынок, отец нам даже из-под земли помог. Спасибо ему». И тут же свалилась. Пешком шла.

Со временем насчёт колосков вышло послабление, а там и совсем разрешили собирать, что мать и сестрёнки делали каждую осень.

С годами Сима и Шурка отстали от этого дела, стеснялись, выросли, замуж их мы выдавали, но мама каждую жатву ходила в поля, а я и после её смерти долго ещё находил в потайках разноцветные мешочки с припасённым зерном.

Вот сейчас и думаю: была бы жива мама, она бы со всех наших полей подобрала бы до колосочка.



Шестилетний Ромка нашёл свою мать Лиду среди телят в боковухе, а не в доильном отделении, где искал поначалу.

– Мам, баба Паня сказала, чтобы ты шла смертельную телеграмму подавать. Папке, – выговорил Ромка, разглядывая воробьёв, обсевших деревянные балки под крышей.

Лида распрямилась в рост – в руках солома на подстилку, застыла. Потом как вскинется:

– Телеграмм-маманя-а!

Ромку испугала. Телята шарахнулись. Лида вцепилась в сыновью руку и всё быстрее и быстрее затопала литыми резиновыми сапогами по бетонному проходу к дальним воротам. У выхода сдёрнула с гвоздя ватник. Кое-как напялила поверх синего халата. Всё скомкалось в рукавах, руки голые, платок сбился, сына потеряла.

– Да не отставай ты, господи, Рома!  
 – Не пойду я с тобой, я сам.  
 – Время нашёл, ну, смотри – через овраг не ходи... Да как ты сюда-то шёл? Ой, нет, иди ко мне! Бегом давай!

Ромка остановился и стал хмуро смотреть в лужицу рядом с выброшенной покрывкой от «Беларуся».

Мать призывно махнула рукой и побежала без дороги в село: по грязи и снегу, через силу воду первых медленных ручьёв, текущих в ледяных ещё постелях. На том берегу оврага два раза падала, пока выкарабкалась.

Ромка постоял на жёлтой от соломы и навоза дороге, вздохнул и по колею, где лужи поглубже, направился домой своим шагом; здесь ему навстречу – трактор Ключина. Коля Ключин остановил, спрыгнул, закричал издали:

– Ромка, мать где? Я за ней!  
 – Побежала. У нас баба Софья померла.  
 – Знаю. Ну, поехали. Некогда разговаривать, – Ключин сгрёб мальчонку, поднял в кабину и заскочил сам. Колёсник почти с места круто развернулся и, подпрыгивая как игрушечный, потрясся по старому большаку в село: все его рубленые дома и обшитые крашенные и серокирпичные здания и тёмные баньки да сарайки были ясно видны – они с трёх сторон наполнили на холм, увенчанный осиротевшей колокольней.

Село Раменье. Каких несколько тысяч. А может, и больше. Раменье, Раменье... По всей России – Раменья, что означает «горелый лес».

Вот Ромкина бабушка здесь и родилась, в первом году тяжёлого века. Повитуха сказала: «Крепонькая будет, ой, крепонькая». Так и вышло. И стала она жить свою отведённую жизнь. Была Софьей, стала Софьей Егоровной, вышедшей замуж за Петра. Что и говорить, когда столько уже написано и рассказано о судьбе деревенской женщины, оставшейся без мужа, убитого на войне.

Сирот двое, к счастью. Лидия родилась с криком, брат Веня появился молча и тихо, как те цыплята, что, вылупившись тихохонько, обсыхают, не понимая, зачем они явились на свет. Или сын понимал – через пять дней война, и шуметь-то, в общем, ни к чему. Не успе-

ет Софья их кое-как покормить, уже стучат в окошко кнутовищем. Некогда было страдать, некому жалиться в суете, когда вокруг одинаково тяжело и сиротливо, а день божий забит натуго одной заботой – о куске.

Помаленьку Раменье вновь стало зарастать людьми, парни до срока сделались мужиками, в избах кое-что появилось. И хоть оставались на селе родичи, да как-то неудачно, и у тех – одни бабы. Но Софья Егоровна терпела.

Пришла пора – всё изменилось. И дальше – перемены к лучшему одна по-за другой. О худом остались одни воспоминания, да такая ещё черта: до последних дней Софья Егоровна видеть не могла, если кто-то бросал хлеб. Так всю и заколотит до слёз, будто ударили.

Теперь вот затихла навеки, и некому хлеб защищать.

Лидя снежным полем против холодного ветра одолела подъём и задами через огород добралась наконец до баньки. Здесь, в затиши под стенкой, остановилась передохнуть и собраться с мыслями. На минутку.

С крыльца сбегала соседка, жена Коли Ключина. Ткнулись друг в друга, коротко всхлипнули. Соседка в одной кофточке, без платка, поспешила в баню, надо воды нагреть, обмывать покойницу будут.

В доме уже затемнили зеркало шалью, на улице со стороны палисада вывесили белое полотенце с чёрным крестом. В большой комнате суетливо теснились соседские старухи. Они замерли и выжидательно-ревниво стали наблюдать за поведением вбежавшей дочери, с точностью регистрируя малейшие детали её поведения – соседки спешно и пока что ворохом впитывали свежие впечатления для дальнейшей более подробной передачи. Только Паня, закадычная подружка Егоровны ещё с девчат, была убита, молчаливо лепились на щеках ее необильные слёзы, она медленно перебирала дни и годы, страшилась в одиночку собственной смерти, водила платочком по намокшим морщинам, чувствовала соль во рту – жива. А Софушки нет...

Баба-то Паня и сказала дочери: «Полно убиваться, Лидуша, сходи на почту, вызови мужа, телеграмму отбей, чтобы с работы отпустили. Так не поверят...»



Лидин муж Алексей — рабочим в дальнем леспромхозе, километров отсюда за восемьдесят. Лида, пока переодевалась да пока искала чёрный платок, в уме сочиняла слова для мужа, но сбивалась, о брате думала: «Веня-то где хоть? Чего не идёт?» Взяла в комодё кошелёк, опустив глаза, тихо прошла мимо лежавшей на своей постели матери.

Вышла во двор, а тут Коля Ключин с Ромкой на тракторе.

— Ты куда? — спросил он, передавая Ромку.

— Телеграмму. Веня где?

— Да сейчас будет. Он в Сурковской мастерской. Уже позвонили. Мне-то чего делать?

— Ой, Коля, не знаю ничего... Может, Коль, ты в правление заедешь, мяса выпишешь, а?

— Ага. Только я в Гришкино съезжу, там сегодня убойна. Килограмм двадцать хватит?

— Бери побольше, народу сколько будет! Я деньги сейчас подам.

— Оставь, Лида, разберёмся.

— Я с дя Колей! — заприсил Ромка.

— Никуда не ходи, — строго наказала мать, — будь во дворе, а я скоро

Коля уехал, Лида ушла. Ромка остановился под окнами, куда вышли горевать и разговаривать соседки. И на время с Софьей Егоровной осталась одна лишь баба Паня.

Паня погладила ей руки, растянутые молочными бидонами, отчего пальцы сделались длинными и сплюснутыми, как у Богородицы на иконе. Поправила на подушке чистое и светлое лицо усопшей, подоткнула под ситцевый платок мятое ухо, стала глядеть сбоку, присев на низенькую скамейку...

Вспомнился ей праздник в райцентре, куда вызвали их троих — Софью, Паню, Клаву. Огромным и сверкающим показался им зал, где выступали разные люди, а среди всех выделялся молодцеватый секретарь в пальто и кителе. Пальто из офицерской шинели он красиво набросил на плечи. Когда надышали, пальто скинул, повесил на спинку стула в президиуме. Длинный, узкий лозунг над сценой отцепился правым краем и провис. Бегом поправили. Однорукий в гимнастёрке с медалями бодро вскарабкался по лесенке (внизу держали), постучал для верности молотком, крикнул, обернувшись в президиум: «Извиняюсь». Там одобрили.

В зале вовсю хлопали в ладоши, когда передовым скотницам стали вручать подарки. Всем троим из Раменья поднесли по одинаковому куску материи. «Чтоб никого не обидеть, товарищи! Всем сестрам — по серьгам!» — под общую радость воскликнул симпатичный секретарь в кителе. Софушка, вот как сейчас видит Паня, свой отрез несла, прижав к груди, он ярко выделялся на чёрной телогрейке, рукава которой были подкатаны: виднелись маленькая тёмная рука и тонкое белое запястье.

После обеда пождали-пождали чего попутного, да напрасно. В район приехали на лесхозовском ЗИСе королевами. Ну, думали, вдруг и домой что подвернётся. Нет. Дождаться дале стало опасно — как не успеем к работе. Потоптались, пошли.

По майской грязи в кирзачах-развалюхах шли просёлками и тропками три молодые русские солдатки. Шли весело, нет-нет да и запоют. Много раз подробно вспоминали, как и кому что давали, как лозунг провис, кто чего сказал, какой секретарь симпатичный в кителе, пальто когда снял и на стул повесил.

Темнушей майской полуночью испуганно пробирались через пустой холодный лес. Пели от страха и громко перекликались, натыкались друг на друга в темноте. Хутор миновали часа в три, наверное. Торопились так, что почти бежали, — часов-то ни у кого. Подходят к первой деревне: мати-светы, кто в эту пору на гармони играет? И огонь! Скоро миновали весёлое место, а впереди ещё три деревни, потом будет Раменье. Страх прошёл, приутихли и молча топали, время от времени ошупывая в узелках подаренную материю — на вес-то она нечувствительна, ну а еду, что была взята (хлеб, лук, два творожника) съели ещё засветло.

В другой деревне снова музыка и гомон. «Праздник у них какой святой, что ли?» — высказала предположение Софья. Пробежались поскорей, мало ли... Только за околицу — а тут уж светать начало — глядь, навстречу трое парней и с ними военный, на ногу припадает. Пьяные. Стали тесниться и обходить всю компанию стороной.

— Вы чё, бабоньки-и! Чего сторонитесь? Валите к нам! Мы вам ничего не сделаем!

— Всё уже сделано, опоздал, — отвечала бой-

кая Клавдия. — А вы тут ни свет ни заря с какой радости?

— Ребя, во дуры-то!

Подхрамал поближе мужик в военной форме.

— Да вы что? — спрашивает. — И вправду ничего не знаете? Откуда хоть?

— Из району.

— Так ведь война кончилась, сестрички. Победа объявлена!

Заплакали. Давай вперемежку обниматься. Уже пошли, когда парень догнал, прибежал из деревни с самогоном. Угостил. Отогрелись — и бегом...

«Как раз на работу успели, — через столько лет вспомнила и обрадовалась Паня. — А ты, Софьюшка, уже своё отработала. Не об чем тужить, некуда тебе торопиться», — тихо покачивалась у изголовья Паня.

Казалось бы, какое дело человеку до того, что его жизнь так похожа на жизнь многих. Какое дело ему, что и смерть его ничем не будет отлична от чужих смертей. Какое ему дело до других, если навсегда уходит он сам — один, единственный, неповторимый. Вот жил и старался, сам того не сознавая, быть похожим на других. Заботился бедами детей, родных, знакомых, радовался и сопереживал — был всегда на людях, а приходит время умирать, то остаётся один сам с собой сводить счёты и подво-

дить свою последнюю черту. Человек умирает, горько сожалея, что жил для других, но прожиги он свои годы по новой — вновь будет он жить так, как жил.

... В дом вкатился Ромка — надоело гулять.

— Баба Паня!

— Аиньки, Ромушка. Иди сюда.

— Ты чего? — спросил он, подходя к руке, — чего говоришь? Сама разговариваешь с собой, что ли?

— Я, Ромушка, говорю, на работу мы тогда с твоей бабушкой не опоздали, вот было хорошо, — ответила старуха, поглаживая мягкую головку и невольно прислушиваясь к шуму тракторов да машин, снующих по дороге за окнами.

□

**Александр РУЛЁВ-ХАЧАТРЯН** —

поэт, драматург, прозаик, переводчик.

Член Союза писателей России.

Впервые появился на страницах журнала «Север» в 1966 году.

Автор книг: «Трое у костра»,

«В году триста шестьдесят пять дней»,

«Семь чудес света», «Повесть временных лет» и др.

В числе наиболее известных произведений —

«Хроника семьи Петровых», «У нас на Выселках»,

«Повесть временных лет» —

памфлет политической сатиры наших дней,

комедия «Роковая черта».

Книги переведены на многие европейские языки.

Живет и работает в Вологодской области.

